## Что такое туфта и как ее заряжают

# Сергей Снегов

В середине июля 1939 года неунывающий Хандомиров дознался, что нас — всю Соловецкую тюрьму и весь примыкающий к ней ИТЛ (Исправительно-трудовой лагерь) — отправляют на большую стройку в каком-то сибирском городке Норильске. Никто не слыхал о Норильске, за исключением, естественно, самого Хандомирова. Этот средних лет, подвижный жилистый инженер-механик знал все обо всем, а если чего и не знал, то никогда не признавался в незнании и фантазировал о том, чего не знал, так вдохновенно и так правдоподобно, что ему верили больше, чем любому справочнику.

— Норильск — это новый мировой центр драгоценных металлов, объявил он, — жуткое заполярье, вечные снега, морозы даже летом... в общем, и ворон туда не залетает, и раки там не зимуют, нежный рак предпочитает юг. И Макар телят туда не гонял, это точно известно. А золота и алмазов навалом — наклоняйся, бери и суй в карман. Всего же больше платины, ну и меди, разумеется. Короче, будем нашими испытанными зековскими руками укреплять валютный фундамент страны.

— Вот же врет, бестия! — восхищенно высказался мой новый приятель Саша Прохоров, московский энергетик, года два назад вернувшийся из командировки в Америку и без промедления арестованный, как шпион и враг народа. — И ведь сам знает, что врет! Конечно, половина вранья — правда. По статистике, у каждого выдумщика вероятность, что в любой его выдумке половина — истина. Математический факт — Хандомиров на этом играет.

Вскоре нам приказали готовиться на этап в Норильск. Нашлись люди, знавшие Норильск больше, чем Хандомиров. Снега и холод они подтверждали, о платине и цветных металлах тоже слышали, но золото и алмазы, валяющиеся под ногами, высмеяли. Мы с нетерпением и надеждой ждали формирования этапа. Два месяца земляных работ у Белого моря вымотали самых стойких. Многие, добредя до площадки будущего аэродрома, валились на песок, и даже мат Владимирова и угрозы охраны не могли поднять их. Тюремные врачи, называвшие симулянтами и умиравших, стали массами оставлять заключенных внутри тюремной ограды. Соловецкое начальство поняло, что хозяйственной пользы из нас уже не выжать, и сотне особо истощенных — мне в том числе — дало двухнедельный отдых перед этапом.

5 августа — радостная отметка дня моего рождения — пароход «Семен Буденный» подошел к причалу, и к вечеру почти две тысячи соловецких заключенных влились в его грузовые трюмы. По случаю перевозки «живого товара» — видимо, новой специализации сухогруза — трюмы были заполнены в три этажа деревянными нарами. Мне досталась нижняя нара, комендант из уголовников решил, что я два раза подохну, прежде чем взберусь на третий этаж, о чем — для воодушевления — и поведал мне. Впрочем, к концу десятидневного перехода по Баренцеву и Карскому морям, а потом по Енисею, я уже с натугой взбирался на вторые нары — поболтать то с одним, то с другим соседом «из наших». На нижних нарах «гужевались» преимущественно «свои в доску», я был среди нижненарных исключением.

В середине августа «Семен Буденный» прибыл в Дудинку — поселок и порт на Енисее. Ночь мы провели в трюме, а ранним утром зашагали колонной на вокзал — крохотное деревянное зданьице, от него шла узкоколейка на восток. У деревянного домика стоял поезд — паровозик «из прошлого столетия», окрестил его Хандомиров, и десятка полтора открытых платформ Мы удивленно переглядывались и перешептывались — подошедшая к вокзалу колонна заключенных была вдесятеро длинней линии платформ.

— Сегодня узнаем, как чувствуют себя сельди в бочке, — почти радостно объявил Хандомиров, — И в самом деле, чем мы хуже сельдей?

Я так и не узнал, как чувствуют себя сельди в бочке, но что человек может сидеть на человеке — на коленях, на плечах, даже на голове — узнать пришлось. Конвоиры орали, толкали руками и прикладами в спины, для устрашения щелкали затворами винтовок, овчарки рычали и норовили схватить за ноги тех, кто вываливался из прущей толпы, а мы мощно натискивались в платформы: первые старались рассесться поудобней, а когда следующие валились на них, платформа превращалась в подобие живого бугра — вершиной на середине, пониже к краям. Я часто встречал на товарных вагонах надписи «Восемь лошадей или сорок человек». Все в мое время совершенствовалось, устаревали и железнодорожные нормы. Но что на платформу, где и сорока человек не разместить, можно впихнуть их почти двести, узнал впервые в Дудинке.

Конвой занял последнюю платформу — целый лес винтовок топорщился над головами. В середине ее разместили станковый пулемет, он покачивался, наставя на нас вороненое дуло.

Уже шло к полудню, когда состав тронулся на восток. Деревянный домик вокзала скрылся за холмиком. Мимо нас проплывала унылая низина, заросшая багрово-синими травками и белым мхом... По небу рваными перинами тащились тучи, иногда они просеивались мелким дождем. Платформы трясло, колеса визжали на поворотах и сужениях: я сидел с краю и видел непостижимую колею — рельсы не вытягивались ровной нитью, а то сморщивались, образуя что-то вроде стальной гармошки, то мелко петляли, один рельс вправо, другой влево. Я не понимал, как вообще поезд может двигаться по такой изломанной колее, и, толкнув Хандомирова, привалившегося — вернее навалившегося — на меня всем телом, обратил его внимание на техническое чудо двух линий рельсов. Он зевнул:

— Нормальная зековская работа. Зарядили могучую туфту. Запомните, дорогой, вся лагерная империя НКВД держится на трех китах: мате, блате и туфте. В Заполярье, я вижу, туфту заряжают мастерски. Понятно?

Мне, однако, понятно было не все. Мат окружал меня с детства. Блат только начинал свое победное шествие по стране, хоть о нем уже и тогда говорили: «Маршалы носят по четыре ромба, а блат удостоен пяти». Но что такое туфта и как ее нужно заряжать, а ее почему-то всегда заряжали, я слышал не только от Хандомирова, — я не имел точного понятия.

Поезд вдруг остановился, потом дернулся — колеса зло завизжали — снова остановился. И мы увидели забавную картину: состав из полутора десятков платформ стоял, а паровоз с двумя платформами бодро уходил вперед. «Стой! Стой!» — заорали на паровоз. Охрана соскочила наземь и с винтовками наперевес окружила покинутый паровозом состав — похоже, страшилась, что заключенные бросятся наутек по дикой тундре. Яростно рычали псы. Ни один заключенный не спустил ног на траву. Паровоз медленно пятился обратно, но не дошел, а замер метрах в двадцати от состава. Раздалась команда: «Все слезай!» — и мы попрыгали на землю.

Ноги по щиколотку увязали в топкой земле. Колеса платформ ушли в грязь и воду, это и было причиной остановки. Я поворачивался то вперед, то назад — на добрые сотню-две метров железная дорога вся провалилась в топкую трясину. Начальник конвоя заорал:

— Есть кто железнодорожники? Выходи, кто кумекает!

Из толпы выдвинулся один заключенный. Я стоял неподалеку и слышал его разговор с начальником конвоя.

— Я инженер-путеец. Фамилия Потапов. Занимался эксплуатацией железных дорог.

— Статья, срок?

— Пятьдесят восьмая, пункт седьмой — вредительство. Срок — десять лет.

— Подойдет, — радостно сказал начальник конвоя. — Что предлагаете, Потапов?

К ним подошел машинист паровоза. Потапов объяснил, что колея проложена по вечной мерзлоте неряшливо. Лето, по-видимому, было из теплых, мерзлота подтаяла и в этом месте превратилась в болото, рельсы ушли в жижу. Паровоз не сумел вытащить провалившийся выше осей состав, сильно дернул и разорвал сцепку между платформами. Поднимать шпалы и подбивать землю — дело не одного дня. Лучше вытащить колею и перенести ее в сторонку, на место посуше. Правда, путь удлинится, может не хватить рельсов...

— Рельсы есть, — сказал машинист. — Везу на ремонтные работы десятка два, еще несколько сотен шпал, всякий строительный инструмент.

Они разговаривали, а я рассматривал Потапова. Он был высок, строен, незаурядно красив сильной мужской красотой — четко очерченное лицо, чуть седеющие усики, проницательный взгляд. И говорил он ясно, кратко, точно. Приняв командование ремонтом пути, он распоряжался столь же ясно и деловито — «не агитационно, а профессионально», сказал о нем Хандомиров и добавил:

— Мы с Потаповым сидели в одной камере. Сильный изобретатель, даже к ордену хотели представить за рационализации. Но одно не удалось. Естественно, пришили вредительство. Не орден вытянул, а ордер. Мы тысячеголовой массой выстроились с обеих сторон платформ и потащили состав назад. Это оказалось совсем не тяжким делом. Хандомиров не преминул подсчитать, что в целом мы составили механическую мощность в триста лошадиных сил — много больше того, что мог развить старенький паровоз. Зато вытягивать колею и передвигать ее на место посуше было гораздо трудней. Мешали и бугорки на новом месте, их кайлили и срезали лопатами — у машиниста нашелся и такой инструмент. Потапов ходил вдоль переносимой колеи и, проверяя укладку шпал, строго покрикивал: — Только без туфты, товарищи! Предупреждаю: туфты не заряжать!

Новая колея за полдень была состыкована со старой — использовали запасные шпалы и рельсы. Мы снова вмялись в платформы, состав покатил дальше.

Вечерело, когда поезд прибыл в Норильск. Снова первыми соскочили со своей платформы конвойные и псы. Пулемет с глаз удалили, но винтовки угрожающе нацеливались на этап. Спрыгивая на землю, я упал и пожаловался, что предзнаменование зловещее — падать на новом месте. Ян Ходзинский не признавал суеверий и посмеялся надо мной, а Хандомиров заверил, что начинать с падения новую жизнь на новом месте не так уж плохо, хуже кончать падением. И вообще, хорошо смеется тот, кто смеется последним. Мне было не до смеха, болело правое колено — недавняя цинга, покрывшая черными пятнами сильно опухшую ногу, еще не была преодолена, каждое прикосновение вызывало боль. А падал я на проклятое правое колено. Хромая и ругаясь, я приплелся в строй. Хаотичный этап понемногу превращался в колонну, по пять голов в ряду. Над заключенными возносились команды и руготня стрелков, их сопровождал визг и лай собак, псы рвались с поводков, чуя непорядок и горя желанием клыками восстановить его. Наконец раздалась впереди команда: «По пяти шагом марш!» — и колонна двинулась.

— Так, где же обещанный город? — сказал Прохоров шагавшему рядом Хандомирову. — И следов города не вижу.

Города и вправду не было. Была короткая улица из десятка деревянных домов, а от нее отпочковывалась другая, и, по всему, последняя — улица, тоже домов на десяток: среди тех домов виднелись и каменные на два этажа. Я поворачивал голову вправо и влево, старался запомнить облик каждого дома.

...Мне в будущем предстояло дважды в день в течение многих лет шагать по этим двум улицам, каждый дом стал до оскомины знаком. И хоть уже десятилетия прошли с той поры, когда впервые шагалось вдоль тех деревянных и каменных домиков, я вижу каждый, словно снова неторопливо иду мимо них. Улица, начинавшаяся от станции, называлась Горной, и открывал ее одноэтажный бревенчатый дом, первая стационарная норильская постройка, возведенная геологом Николаем Николаевичем Урванцевым, еще в двадцатые годы детально разведавшим Норильское оруденение и открывшим здесь, на клочке ледяной тундры, минералогические богатства мирового значения. Урванцев руководил тремя экспедициями в район Норильска, а в тот день, когда я с товарищами по беде шагал по сотворенной им улице, он тоже находился в Норильске и был в такой же беде, как мы. Из первооткрывателя заполярных богатств превращен в обычного заключенного — впрочем, освобожденного от тяжких «общих» работ: он продолжал в новом социальном качестве прежние свои геологические изыскания. Мне предстояло вскорости с ним познакомиться — и много лет потом поддерживать добрые отношения. Большинства увиденных нами домов теперь уже нет на той первой норильской улице, а дом Урванцева стоит — и в нем музей его имени, мемориальное доказательство его геологического подвига. А рядом с музеем торжественная могила — в ней прах самого Николая Николаевича Урванцева и его жены Елизаветы Ивановны» часто сопровождавшей мужа в его северных экспедициях и приезжавшей, к нему, заключенному. А на бронзовой стеле простая надпись: «Первые норильчане» и дата их жизненных дорог: 1893—1985 гг. Оба родились в один год и умерли почти одновременно в Ленинграде, прожив каждый девяносто три года. Прах обоих перевезли на вечное упокоение в город, созданный трудом самого Урванцева, город, где он проработал потом пять лет в заключении и где теперь, кроме музея его имени, есть и набережная Урванцева. Потомки хоть таким уважением к памяти отблагодарили его и за выдающиеся труды, и за незаслуженное страдание. Древность сохранила легенду о супружеской паре Филимоне и Бавкиде, которых боги за чистоту души одарили долголетием, правом умереть одновременно и вечной памятью потомков. К древним богам двадцатый век не сохранил почтения, но благодарность за благородную жизнь неистребима в человеческой натуре — супружеская чета Урванцевых тому возвышающий душу пример...

Но все это было в далеком «впоследствии», а в тот день, проходя мимо домика Урванцева, я лишь бросил на него невнимательный взгляд. Вряд ли и моих товарищей он тогда заинтересовал. Зато все мы дружно приметили двухэтажное строение на той же стороне Горной улицы. Мы еще не знали, что оно называется «Хитрым домом», а правильней должно бы называться «Страшным домом»,-в нем помещались Управление внутренних дел и местная «внутренняя» тюрьма. Зловещая архитектура — решетки на наружных окнах, «намордники» на окнах во дворе да охрана у входа — все это было каждому горько знакомо и у каждого порождало все те же, еще не ослабевшие воспоминания: по колонне пробегал шепоток, когда ее ряды шествовали мимо его дома».

А на другой стороне улицы красовался деревянный домина с прикрепленными к фасаду кривоватыми колоннами — архитектурное свидетельство, что здание — культурного назначения.

— Театр, — безошибочно установил Хандомиров. — Что я вам говорил? Город! Улиц, правда, не густо, да и домов неубедительно, но зато — культура!

— Культура, да не для нас, а для вольняшек, — огрызнулся Прохоров.

— Вряд ли местные вольняшки взыскуют культуры, — заметил наш сосед по ряду, пожилой, высокий, очень худой — его звали Анучиным, мы с ним дружили.

Впоследствии мы узнали, что все трое спорщиков оказались правы: деревянное здание служило театром (играли в нем, естественно, заключенные), пускали в него только вольных, но вольные театр не жаловали, зал заполнялся от силы на четверть — существенное отличие от клубов в лагере, где те же артисты собирали зрителей и «всидяк, и встояк», как выражались иные, покультурней, коменданты из «своих в доску».

За театром показались сторожевые вышки, вахта, мощная стена из колючей проволоки, необозримо протянувшаяся вправо и влево. Уже стемнело, с вышек лилось прожекторное сияние. Плотные ряды охраны образовали живой желоб, по нему в лагерь одна за другой вливались пятерки заключенных. Начальник конвоя громко отсчитывал: «Сто шестая! Сто седьмая! Сто восьмая, шире шаг! Сто девятая! Сто десятая, приставить ногу! Кончай базар, разберись по пяти! Сто одиннадцатая, повеселей!»

Мы с Хандомировым, Прохоровым, Ходзинским и Анучиным проскользнули через вахту без особых замечаний. За воротами нас перехватил комендант — заключенный не то из уголовников, не то из бытовиков — и яростно заорал, словно мы в чем-то уже провинились.

— Куда прете? Сохраняй порядок! Организованно в семнадцатый барак. Номер на стене, баланда на столе. Направо!

Семнадцатый барак был далеко от вахты, мы не торопились, нас обгоняли пятерки пошустрей. Но они спешили в другие бараки, в семнадцатом мы были из первых. На столе стоял бачок с супом, горка аккуратно — трехсотграммовые пайки — нарезанного хлеба. Дневальный из бытовиков наливал каждому полную миску. Мы бросили свои вещевые мешки на нары — я облюбовал нижнюю, из уважения к одолевшей меня цинге ее не оспаривали, — жадно опорожнили миски и «умяли пайки». От сытной еды потянуло в сон. Хандомиров, оглушительно зевнув, объявил, что и на воле утро всегда мудреней, а в лагере дрыхнуть — главная привилегия добропорядочного заключенного. Спустя десяток минут мы все спали тем сном, который именуется мертвым.

Видимо, я спал дольше всех. Вскочив, я обнаружил в бараке одного дневального, последнюю хлебную пайку на столе и остатки супа в бачке, до того густого, что в нем не тонула ложка.

— Остатки сладки, — попотчевал меня дневальный. — Специально для тебя не расходовал гущины. Гужуйся от пуза — пока разрешаю. Пойдете на работы, суп станет пожиже — по выработке. И носить будете сами из раздаточной.

— Как называется наше местожительство? — спросил я.

— Не местожительство, а второе лаготделение. — Дневальный подмигнул:— А не местожительство потому, что в дым доходное. Жутко вашего народа загинается. От первого этапа, за месяц до вас, сколько уже натянули на плечи деревянный бушлат. Не вынесли свежего воздуха и сытой жратвы. Учти это на будущее. Чего хромаешь?

— Цинга, ноги опухли.

— С ног и начинается! Деньги имеются?

— Зачем тебе мои деньги?

— Не мне, а тебе. В лавочке за наличные можно купить съестного. А пуст лицевой счет, загоняй барахлишко, покупатели найдутся. Попросишь, так и помогу продать стоящую вещицу. Само собой, учтешь одолжение.

Я вышел наружу. Если Норильск и был городом, а не населенным пунктом или поселком — так он тогда, мы это скоро узнали, значился официально, — то во втором лагерном отделении городского имелось много больше, чем на тех единственных двух улицах, которые его составляли. Куда я ни поворачивал голову, везде тянулись деревянные побеленные бараки, они вытягивались в прямые улицы, образовывали площади, сбегали от площадей переулочками вниз, в долинку ворчливого Угольного ручья. А по барачным улицам слонялись заключенные, кто уже в лагерной одежде, кто еще в гражданском. В основной массе это были мужчины, но я увидел и женщин. Женщины различались по виду сильней, большинство сразу выдавали себя — хриплыми голосами, подведенными глазами, вызывающим взглядом, — но попадалась и явная «пятьдесят восьмая»: интеллигентные лица, городская одежда, еще не смененная на лагерную. Я искал знакомых, переходя от барака к бараку, но они либо терялись в толпе, либо куда-то зашли. Я читал надписи на бараках: «Амбулатория», «Культурно-воспитательная часть — КВЧ», «Учетно-распределительный отдел — УРО», «Канцелярия», «Вещевая каптерка», «Ларек», «Штрафной изолятор — ШИЗО». Надписи свидетельствовали, что во втором лаготделении царствует не хаос, а дисциплина и режим. Наконец я встретил двух знакомых. Хандомиров с Прохоровым несли в руках консервные банки и папиросы.

— Роскошь! — объявил сияющий Хандомиров. — Не ларек, а подлинный магазин. Любой товар за наличные. Купил три банки варенья из лепестков розы, пачку галет. Есть и твердая колбаса, и сливочное масло по шестнадцати рубчиков кило.

— Почему же не купили масла и колбасы? — Я заметил, что съестные припасы у обоих ограничиваются вареньем из лепестков розы и галетами.

Хандомиров вздохнул, а Прохоров рассмеялся.

— Жирно — сразу и масло, и колбасу. Во-первых, бумажек нехватка. А во-вторых, надо где-то какое-то заиметь разрешение на ларек, если захотелось колбаски. Как у тебя с рублями, Сергей?

— Никак. Ни единой копейки в кармане.

— Бери взаймы банку варенья, потом вернешь — и не сладкими лепестками, а чем-нибудь посущественней. Идем пить кипяток с изысканными сладостями. Мы воротились в барак и истребили все сладостные банки. Два дня после роскошного угощения от нас подозрительно пахло розами — отнюдь не лагерный аромат, — а я приобрел устойчивое, на всю дальнейшую жизнь — отвращение к консервированным в сахаре розовым лепесткам.

— Теперь основная задача — обследоваться, — сказал Хандомиров. — Я все узнал. Организована бригада врачей из наших, под командованием вольных фельдшеров, свыше назначенных в лагерные доктора. Заключенные врачи именуются лекарскими помощниками, сокращенно лекпомами, а по-лагерному, лепкомами, — видимо, от слова — лепить диагноз. Среди лепкомов я нашел профессоров Никишева, патологоанатома, докторов Кремлевской больницы Родионова и Кузнецова, оба хирурги, еще увидел Розенблюма и усатого Аграновского — оказывается, и он по профессии врач, а я его знал как украинского фельетониста, после Сосновского, Зорича и Кольцова следующего по славе. Работа у них простая — кого в работяги, кого в доходяги, а кого в больницу — готовить этап на тот свет. В общем, пошли.

Перед медицинским бараком вытягивалась стоголовая очередь. Я увидел в ней Яна Витоса. Старый чекист, работавший еще при Дзержинском, сильно сдал за последний месяц в Соловках и особенно в морском переходе. Он хмуро улыбнулся.

— Ваш дружок Журбенда тоже определился во врачи. Называл себя историком, республиканским академиком, а по образованию, оказывается, медик. Жулик во всем. Нарочно пойду к нему.

— Не ходите, Ян Карлович, — попросил я. — Журбенда ваш личный враг. Он вам поставит лживый диагноз.

— Сколько ни придумает лжи, а в больницу положит. Плохо мне, Сережа. Не вытяну зимы в Заполярье.

Ян Витос и правда после первого же осмотра был направлен в больницу. Таких как он в нашем соловецком этапе обнаружились десятки — немолодые люди, жестоко ослабевшие от непосильного двухмесячного труда на земляных работах после нескольких лет тюрьмы, а потом и тяжкого плавания в океане. Витос не вытянул даже осени. Я ходил к нему в больницу, он быстро угасал. Когда повалил первый снег, Витоса увезли на лагерное кладбище. В те октябрьские дни ежедневно умирали люди из нашего этапа. Соловки поставили в Норильск «очень ослабленный контингент», так это формулировалось лагерной медициной.

Я попал к Захару Ильичу Розенблюму. Он посмотрел на мои распухшие, покрытые черными пятнами ноги и покачал головой.

— Не только цинга, но и сильный белковый авитаминоз. Типичное белковое голодание. Советую продать все что можете и подкрепить себя мясными продуктами.

Я продал что-то из белья, выпросил десяток рублей с лицевого счета и набрал в лавке мясных консервов. Молодой организм знал, как повести себя в лагере, пятна бледнели чуть ли не по часам, опухоль спадала. Спустя неделю ничто, кроме прожорливого аппетита — не напоминало о недавнем белковом авитаминозе.

В эти первые свободные от работы дни я часами слонялся один и с товарищами по обширному второму лаготделению. Лагерь меня интересовал меньше, чем окрестный пейзаж, но все же я с удовлетворением узнал что имеется клуб и там бесплатно показываются кинофильмы, а самодеятельный ансамбль из заключенных еженедельно дает спектакли. В этом «самодеятельном ансамбле» были почти исключительно профессионалы, я узнал среди них известные мне и на воле фамилии. Неутомимый Хандомиров вытащил в клуб нашу «бригаду приятелей» и пообещал, что останемся довольны.

— Любительская самодеятельность хороша только в том случае, если выполняется профессионалами. На воле это парадоксальное требование практически не выполняется. Но Исправительно-трудовой лагерь, по природе своей, учреждение парадоксальное, только здесь и можно увидеть профессиональное совершенство в заурядном любительстве.

Больше всего меня захватывал открывавшийся глазу грозный мир горного Заполярья. Август еще не кончился, а осень шла полная. По небу ползли глухие тучи, временами они разрывались, и тогда непривычно низкое солнце заливало горы и долины нежарким и неярким сиянием. С юга Норильск ограничивали овалом три горы — с одного края угрюмая, вся в снежниках Шмидтиха, в середине невысокая — метров на четыреста — Рудная, а дальше — Барьерная. За ней простиралась лесотундра, мы видели там настоящий лес, только — издали — совершенно черный. Север замыкала совершенно голая, лишь с редкими ледничками, рыжая гряда Хараелах, тогда это было совсем неживое местечко, типичная горная пустыня: нынче там сорокатысячный Талнах, строящийся город-спутник Оганер — по плану на 70–100 тысяч жителей. Я сейчас закрываю глаза и вижу северные горы в Норильской долинке — и только мыслью, не чувством, способен осознать, что эти безжизненные, абсолютно голые желто-серые склоны и плато — ныне площадка великого строительства — кладовая новооткрытых рудных богатств, которым, возможно, нет равных на всей планете.

А на запад от нашего второго лаготделения, самого населенного места в Норильске, простиралась великая — до Урала — тундра, настоящая тундра, безлесая, болотистая, плоская, до спазмы в горле унылая и безрадостная — мы недавно ехали по ней, вдавливая железнодорожную колею в болото. И в тундру непода¬леку от наших бараков врезался Зуб — невысокий горный барьерчик, выброшенный каким-то сейсмическим спазмом из Шмидтихи на север, странное название точно отвечало облику.

Когда, прислонившись к стене нашего барака, я озирал угрюмые горы, закрывавшие весь юг, ко мне подошел Саша Прохоров.

— Нашел чем любоваться!

— Страшусь, а не любуюсь. Неужели придется прожить здесь и год, и два?

...Я и не подозревал тогда, что проживу в Норильске не год и не два, а ровно восемнадцать лет...

Всему соловецкому этапу дали несколько дней отдыха. А затем УРО — Учетно-распределительный отдел сформировал рабочие бригады. В одну из них определили и меня. В УРО служили, мне кажется, шутники, они составляли рабочие бригады по образовательному цензу и званиям. Если бы среди нас было много академиков, то, вероятно, появилась бы и строительная бригада академиков-штукатуров или академиков-землекопов. Но в тот год академик нашелся только один, и с него сыпался такой обильный песочек, что этого не могли не заметить и подслеповатые инспектора УРО — дальше дневального или писаря продвигать его по службе не имело смысла.

Наша бригада называлась внушительно: «бригада инженеров». В ней и вправду были одни инженеры — человек сорок или пятьдесят. Все остальные бригады комплектовались смешанно — в них трудились учителя, музыканты, агрономы. В смешанные бригады кроме «пятьдесят восьмой» вводили и бытовиков, и уголовников: и тех и других хватало в соловецком этапе, а еще больше прибывало в этапах с «материка», плывших не по морю, а по Енисею от Красноярска. Новоорганизованные бригады отправлялись на земляные работы — готовить у подножия горы Барьерной площадку под будущий Большой металлургический завод.

Бригадиром инженерной бригады вначале определили Александра Ивановича Эйсмонта, в прошлом главного инженера МОГЭС, правительственного эксперта по электрооборудованию, не раз для покупки его выезжавшего во Францию, Германию и Англию, а ныне премилого и предоброго старичка, которого ставил в тупик любой пройдоха нарядчик. Особых подвигов в тундровом строительстве он совершить не успел, его к исходу первой недели начальник строительства Завенягин перебросил «в тепло» — комплектовать в Норильскснабе прибывающее электрооборудование. Потом я с удивлением узнал от самого Эйсмонта, что он был не только видным инженером, но и настоящим — а не про¬изведенным на следствии в таковые — сторонником Троцкого, встречался и с Лениным, писал разные политические заявления, подписывал какие-то «платформы» и потом не отрекался от них, как большинство его товарищей. В общем, он решительно не походил на нас, тоже для чего-то объявленных троцкистами либо бухаринцами, но в подавляющей массе не имевших даже представления о троцкизме и бухаринстве. Долго в Норильске Эйсмонту жить не пришлось. Уже в следующем году его похоронили на зековском кладбище. А там, на нашем безымянном «упокоище в мире», ему оказали честь, какой ни один зек еще не удостаивался: поставили на могиле шест, а на нем укрепили дощечку с надписью «А. И. Эйсмонт». Уж не знаю, сами ли местные руководители решились на такой рискованный поступок или получили на то предписание свыше.

Эйсмонта заменил высокий путеец Михаил Георгиевич Потапов. Я уже говорил, как в пути из Дудинки в Норильск он быстро и квалифицированно перенес провалившуюся в болото колею. Хандомиров назвал его выдающимся изобретателем. Забегая вперед, скажу, что самое выдающееся свое изобретение он совершил в Норильске спустя год после приезда. Зимою Норильскую долину заметали пурги: у домов вздымались десятиметровые сугробы, все железнодорожные выемки заваливало, улицы становились непроезжими, почти непроходимыми. Потапов сконструировал совершенно новую защиту дорог от снежных заносов — деревянные щиты «активного действия». Если раньше старались прикрывать дороги от несущегося снега глухими заборами — и снег вырастал около них стенами и холмами, то Потапов наставил щиты со щелями у земли: ветер с такой силой врывался в эти щели, что не наваливал снег на дорогу, а сметал его с дороги, как железной метлой. Когда Потапов освободился, его изобретение, спасшее Норильск от недельных остановок на железной и шоссейных дорогах, выдвинули на Сталинскую премию. Но самолюбивый, хорошо знающий цену своему таланту изобретатель не пожелал привлечь в премиальную долю кого-либо из своих начальников, как то обычно делалось. И большому начальству показалось зазорным отмечать высшей наградой недавнего заключенного, отказавшегося разбавить ее розовой водицей соавторства с чистым «вольняшкой».

Эйсмонт начал свое бригадирство с того, что вывел нас на прокладку дороги от поселка к подножию Рудной. На «промплощадке» еще до нас возвели кое-какие сооружения: обнесли обширную производственную «зону» — километров на пять или шесть в квадрате — колючим забором, построили деревянную обогатительную фабричку с настоящим, впрочем, оборудованием, кирпичный Малый металлургический завод — ММЗ, проложили узкоколейку в зоне, несколько подсобных сооружений... Все эти строения, выполненные в 1938—39 годах — тоже руками заключенных, — были лишь подходом к большому строительству на склонах горы Рудной. И для такого большого строительства в Норильск в лето и осень 1939 года гнали и гнали многотысячные этапы заключенных. Наш соловецкий этап был не первым и даже не самым многочисленным. Зато он, это скоро выяснилось, был наименее работоспособным.

Не один я запомнил на всю жизнь первый наш производственный день на «общих работах» — так назывались все виды неквалифицированного труда. Мы разравнивали почву для новой узкоколейки от вахты до Рудной. Рядом с инженерной бригадой трудились смешанные. И сразу стало ясно, что из нас, инженеров, землекопы — как из хворостины оглобли. И не потому, что отлынивали, что не хватало усердия, что не обладали землекопным умением. Не было самого простого и самого нужного — физической силы. Мы четверо, я, Хандомиров, Прохоров и Анучин, лезли из кожи, выламывая из мерзлой почвы небольшой валун и лишь после мучительных усилий, обливаясь потом под холодным ветром, все снова хватаясь за проклятый валун, кое-как вытащили его наружу. И еще потратили час и столько же сил, чтобы приподнять валун, и взвалить на тележку, — тащить его на носилках, как приказывали, никто и подумать не мог. А возле нас двое уголовников, командуя самим себе: «Раз, два, взяли!» — легко поднимали такой же валун, валили его на носилки и спокойно тащили к телеге, увозившей камни куда-то в овраги. А потом демонстративно минут по пять отдыхали, насмешливо поглядывая на нас, и обменивались обычными шуточками насчет важных Уксус Помидорычей и бравых Сидоров Поликарповичей. Мы тратили физических усилий, той самой механической работы, которая в средней школе называется «произведением из силы на путь», вдесятеро больше их. Но нам не хватало физической малости, что у них была в избытке, — потратить разом, в одном рывке это единственно нужное и трижды клятое «произведение из силы на путь». В барак на отдых мы в этот день не шли, а еле плелись. Нас не могли подогнать даже злые окрики конвойных, принявших нас у вахты, — в «зоне» конвоев не было, там мы становились как бы на время свободными.

— Бригада инженеров, шире шаг! — орали конвойные и для острастки щелкали затворами и науськивали, не спуская их с поводков, охранных собак. Собаки рычали и лаяли, мы судорожно ускоряли шаг, но спустя минуту ослабевали — и снова слышались угрозы, команды и лай собак.

В бараке нас ожидала горбушка хлеба и миска супа, но и того и другого было слишком мало, чтобы надежно подготовиться к завтрашнему «вкалыванию»: никто и наполовину не утолил аппетит.

На мои нары уселся Прохоров — он обитал на втором этаже, но так обессилел, что не торопился лезть наверх.

— Сережка, дойдем, — сказал он. — Ситуация такая: нас хватит недели на две. А за две недели шоссе не выстроить. Наша пайка не восстанавливает силы, чую это каждой клеточкой.

К нам подсел Хандомиров и придал беседе иное направление.

— И такой пайки скоро не будет, — предсказал он. — Она ж полная, поймите. Мы же не вытянули нормы, и завтра не вытянем, и послезавтра. И нас посадят на гарантию, никакой горбушки, никакой полной миски дважды в день! Триста граммов хлеба утром, триста вечером, а баланда — только утром. Полной пайки не хватает, а если половинная?

— Что же делать? — спросил я.

— Выход один — зарядить туфту! И не кусочничать! Туфту такую внушительную, чтобы минус превратился в плюс. Без туфты погибнем.

— Мысль хорошая, — одобрил Прохоров. — Одно плохо: не вижу, как реально зарядить туфту.

— Будем думать. Все вместе и каждый в отдельности. Что-нибудь придумается.

Ничего не придумалось ни на другой день, ни в последующие. О выполнении землекопной нормы не приходилось и думать. Зловещее пророчество Хандомирова осуществилось: на третий день бригаду посадили на уменьшенную продовольственную норму. Несколько человек пошли в медицинский барак выпрашивать освобождение от земляных работ. Им отказали, но было ясно, что скоро многие свалятся — и лепкомам самим тащить их в больницу. В лагерной рукописной газете, вывешенной на стене клуба, клеймили позором инженеров — симулянтов и саботажников, проваливающих легкие нормы, с которыми справляются все землекопы. Мы пошли к новому бригадиру и пригрозили, что вскоре ему некого будет выводить на работу.

— Товарищи, положение отчаяннейшее, — согласился Потапов, — мне еще трудней, чем вам, я ведь рослый, а продовольственная норма одинаковая. Сегодня я говорил с начальником Металлургстроя Семеном Михайловичем Ениным. Видный строитель, орденоносец... Обещал перевести на новый объект — зачищать площадку под большой завод. Снимать дерн будет легче, чем выкорчевывать валуны из вечной мерзлоты.

Утром, прошагав в сторону от дороги, которая так не давалась, мы появились на унылом плато, где запроектировали воздвигнуть самый северный в мире металлургический завод. С плато открывался превосходный вид на Норильскую долинку. Но все смотрели на бревенчатый домик о двух окошках, в нем размещалась контора Металлургстроя. Из домика вышел плотный мужчина средних лет, в распахнутом брезентовом плаще, открывавшем орден Трудового Красного Знамени на пиджаке, — начальник Металлургстроя Семен Енин. Его сопровождала группа прорабов и мастеров. Он молча посмотрел на нас. Вряд ли ему понравился внешний вид инженеров, превращенных в землекопов.

— Все это теперь ваше, — сказал он, размахнувшись рукой от вершины Барьерной к горизонту — над ним, словно из провала, вздымалась угрюмая горная цепь Хараелаха. — Вы должны показать на этом клочке земли, чего стоите. Уверен, что боевая бригада инженерно-технических работников, с киркой и лопатой в руках, высоко поднимет над тундрой флажок рабочего первенства! Жду перевыполнения норм.

Возможно, он сказал это деловитей и суше, но за смысл ручаюсь. Разумеется, мы не кричали в ответ «ура». Нам не понравилось его напутствие, оно слишком уж разнилось от тех радужных обещаний, какими вчера успокаивал Потапов. В нашей бригаде я был самым молодым, но и мне подваливало к тридцати. Пожилых инженеров — многие в недавнем прошлом руководили крупными заводами — не зажгла перспектива рвать рекорды земляных выемок. Со счетной линейкой мы все справлялись легче, чем с кувалдой и ломом. На плато вдруг полился дождь. Низкое небо спустилось с гор и потащилось над лиственницами, оседая на нас, как прогнившее ватное одеяло. Енин и прорабы запахнулись в брезентовые плащи, мы ежились и совали руки в рукава. Любая мокрая курица могла бы пристыдить нас своим бравым видом.

И тут вперед выдвинулся Потапов. Он молодцевато распахнул воротник своей железнодорожной шинели — лагерное обмундирование еще не было выдано — и лихо отрапортовал:

— Премного благодарны за доверие, гражданин начальник! Бригада инженеров-заключенных берет обязательство держать первенство по всему строительному объекту. Можете не сомневаться, не подкачаем!

Стоявший около меня Мирон Альшиц, коксохимик, руководивший монтажом многих коксовых заводов, громко сказал, не постеснявшись высоких лиц и ушей:

— Он, кажется, сошел с ума!

Мне тоже думалось, что если наш бригадир и не сошел с ума, то, во всяком случае, не в своем уме. Я высказал ему это сейчас же, как только блестящий начальственный отряд удрал от дождя в контору, подобрав свои извозчичьи брезентовые плащи, как иные дамы подбирают платья из атласа и парчи. Потапов любил меня. Не знаю, почему он так привязался ко мне, но его расположение замечали и посторонние. Все эти первые трудные дни на промплощадке он отыскивал для меня работу полегче, рассказывал о бедовавших без него на воле двух дочерях, доверительно делился идеями еще не совершенных изобретений. Возможно, это происходило оттого, что он был старше меня на двадцать лет. Он не рассердился от дерзкого моего замечания, а положил руку мне на плечо и с улыбкой заглянул в лицо.

— Сережа, — сказал он ласково, — как все-таки обманчива внешность: мне ведь казалось, что вы умный человек.

Меня удовлетворил такой честный ответ. Мне тоже иногда казалось, что я умный человек. Но я не мог этого доказать ни одним своим поступком, ибо все, что ни делал, было как на подбор глупостью — по крайней мере по нормам и морали мира, в котором я ныне жил и задыхался.

— И почему вы жалуетесь? — продолжал Потапов. — На прокладке шоссе нас давили общесоюзные нормы на земляные работы, а для планировки площадки таких норм пока нет. Разве это не облегчение? Получим полную пайку, именно это я и обещал.

Он отошел, а я со вздохом взялся за кайло. Планировать площадку было не легче, чем прокладывать шоссе, — и там, и здесь надо было долбить землю. Я любил землю — как, впрочем, и воздух, и небо, и море — и поминал ее добрым словом в каждом стихотворении, а их писал в тюрьме по штуке на день. Но она не отвечала мне взаимностью, она была неподатлива и холодна. Она лежала под моими ногами скованная вечной мерзлотой. Лом высекал из нее искры, лопата звенела и гнулась, а я обливался потом. Я только скользил по поверхности этой дьявольски трудной земли, не углубляясь ни на вершок. Глубина мне не давалась Временами — от отчаяния и усталости — мне хотелось пробивать землю лбом, как стену. Я тогда еще тешил себя иллюзиями, что лоб у меня справится с любой стеной.

На площадку привезли лес. Потапов поставил меня в паре с Альшицем ковырять землю. Хандомиров, Прохоров и другие мои товарищи работали в отдалении, они устраивали дощатые трапы к обрыву, где планировался отвал. Никто и там не развивал энтузиазма — всех возмутило, что Потапов изменил своему слову и не подумал искать работы полегче. Моя схватка с промерзшим еще тысячелетия назад грунтом казалась, наверно, очень забавной.

— Зачем такое усердие? — насмешливо поинтересовался Альшиц. — Не думаете ли вы, что заключенных награждают орденами за производственный героизм?

— Боюсь, вы мечтаете лишь о том, чтоб избежать производственного травматизма, — ответил я, уязвленный. — Неприятно смотреть, как вы чухаетесь. Словно уже три дня не ели!

— Работаем валиком, — согласился Альшиц. А зачем по-другому? Разве вы не понимаете, что вся эта затея — переквалифицировать нас в землекопов — не только неосуществима и потому бессмысленна, но и вредна? Государству нужны не моя мизерная физическая сила, а мои специальные знания и опыт, если оно не вовсе сдурело, это наше государство, в чем я не уверен!

Он с осуждением и гневом глядел на меня. Не очень рослый, прямой, с тонким красивым лицом, он готовился спорить и доказывать, кричать и браниться. Он схватился не со мной — со всем тем нелепым и непостижимым, что творилось уже несколько лет. Государство остервенело било дубиной по самому себе. Альшиц и здесь, как, вероятно, и на допросах на Лубянке или в Лефортово, готов был одинаково горячо доказывать, что конец будет один, если вовремя не спохватиться...

Меня не очень интересовала его аргументация. Я, в общем, держался того же взгляда. Я любовался его одеждой, он был забавно экипирован. Драповое пальто с шалевым бобровым воротником, привезенное из Дюссельдорфа, где Альшиц закупал у Круппа оборудование коксохимических заводов, было опоясано грязной веревкой, как у францисканского монаха. А на шее, удобно заменяя кашне, болталось серое лагерное полотенце. Высокую — тоже бобровую — шапку Альшиц пронес через этапные мытарства, но ботинки «увели» — ноги его шлепали в каких-то неандертальских ичигах, скрепленных такими же веревками, как и пальто. И в довершение всего он держал в руке лом как посох — уткнув острием в землю.

— С вас надо писать картину, Мирон Исаакович, — ответил я на его тираду. — Вот бы смеялись!

Он повернулся лицом к тундре. Хараелах давно пропал в унылой мгле дождя, но метрах в четырехстах внизу смутно проступали два здания: деревянная обогатительная фабрика и Малый металлургический завод — скромненькие предприятия, пущенные, как я уже писал, незадолго до нашего приезда в Норильск, чтобы отработать на практике технологическую схему того большого завода, который нам предстояло строить. Альшиц протянул руку к Малому заводу:

— Поймите, он уже работает! Он потребляет кокс, который выжигают в кучах, как тысячу лет назад. Страна ежедневно теряет в этих варварских кучах тысячи рублей, бесценный уголь, добываемый с таким трудом в здешней проклятой Арктике! А я, единственный, кто может среди нас положить этому конец, долблю землю ломом, который мне даже поднять трудно. Где логика, я вас спрашиваю? Неужели она такая богатая, моя страна, что может позволить себе эту безумную расточительность — Мирона Альшица послали в землекопы!

Он закашлялся и замолчал. В его глазах стояли слезы. Он отвернулся от меня, чтобы я их не видел. Я опустил голову, подавленный тяжестью его обвинений. Никто не смел потребовать с меня формальной ответственности за то, что с нами совершилось. Крыша упала на голову, внезапно попал под поезд, свалился в малярийном приступе — короче, несчастье, не зависящее от твоей воли, так я объяснял себе события этих лет. Меня не успокаивало подобное объяснение, оно было поверхностно и лживо, а я допытывался правды, лежащей где-то в недоступной мне глубине. Я нес свою особую, внутреннюю, мучительно чувствуемую мною ответственность за то, что проделали со мной и Альшицем и многими, многими тысячами таких, как я... Меня расплющивала безмерность этой непредъявленной, но неотвергаемой ответственности.

Альшиц заговорил снова:

— И вы хотите, чтоб я надрывался в котловане для удовлетворения служак, которым наплевать на все, кроме их карьеры? Этот Потапов... Что он пообещал нам вчера? И что он сделал сегодня? Нет, я буду сохранять силы Мирона Альшица, они нужны не мне, а тому заполярному коксохимическому заводу, который я вскоре, верю в это, буду проектировать и строить! Ах, эти лишние кубометры земли, какой пустяк, я за всю мою жизнь не сделаю того, что наворочает один экскаватор за сутки. Но это же будет несчастье, если Альшиц свалится от изнеможения и ввод нового коксового завода задержится хотя бы на месяц!

— Нарядчику и прорабу вы же не объясните этого Они потребуют предписанных кубометров...

Ну и что же? Когда нам объявят норму, не постесняюсь зарядить туфту. Ваш приятель Хандомиров только и твердит об этом. Он прав, он тысячекратно прав! Я заряжу туфту на пятьдесят, наконец на сто процентов! Начальству нужна показуха, а не работа — показуху они получат. И пусть мне не говорят, что так недостойно — совесть моя будет чиста!

К нам подошел Прохоров и полюбопытствовал, о чем мы так горячо спорим.

— О норме, — сказал Альшиц. — И о туфте, разумеется.

— С нормой и здесь будет плохо, — подтвердил Прохоров. — На этом грунте и профессиональные землекопы не вытянут... Боюсь, нас и туфта не спасет. Самое главное — как ее зарядить?

Альшиц, волоча лом по земле, отправился к отвалу, а я спросил Прохорова, что это за таинственная штука — туфта, о которой так часто говорит Хандомиров, да и не он один.

— Тю! Да неужто и вравду не знаешь?

— Саша, откуда же мне знать? Я работал на заводе, а не на строительстве.

— На заводах тоже туфтят. В общем, если с научной точностью... Я пошел на свое место, туда шагает Потапов! Потом потолкуем.

День этот был все же лучше предыдущих: поскольку норм пока не объявили, нам и не записали их невыполнения. Ужин выдали нормальный. Но всех тревожило что будет потом? Сколько продлится придуманное Потаповым облегчение? Только ошеломляющее известие о приезде Риббентропа в Москву, переданное по вечернему радио, оттеснило местные заботы. Взволнованные, молчаливые, мы сгрудились у репродуктора. В мире назревали грозные события, мы старались разобраться в их смысле...

Утром Потапов принес из конторы две новости. Первая была приятна — в УРО появилась комиссия по использованию заключенных на специальных работах. Комиссия затребовала все личные дела, будут прикидывать — кого куда? «На днях конец общим работам!»— твердили наши «старички», то есть те, кому подходило к сорока и кто уже откликался на фамильярно-почтительное обращение бытовиков: «Батя!» Уверенность в скором освобождении от физического труда была так глубока, что никто особенно не огорчился от второй новости — введения норм. Подумаешь, норма! Разика три-четыре схватим трехсотку на завтрак, ничего страшного! На исходе недели все равно забросим кирку и лопату.

Потапов ходил темнее тучи. Меня удивил его вид, и я полез с расспросами.

— Боюсь, от радости люди одурели! — сказал он сердито. — А чему радоваться? Пока комиссия перелистает все дела, пройдет не один месяц. И куда устроить всю эту ораву специалистов? Строительство только развертывается, сейчас одно требуется — котлованы и еще раз котлованы.

— Значит, вы считаете...

— Да, я считаю. Врачей и музыкантов заберут, болезни надо лечить, а музыка поднимает дух, это только дуракам неизвестно. А какую работу здесь найти агроному? И где те заводы, которым понадобились инженеры? Большинству еще месяцы вкалывать на общих. И для многих это — катастрофа!..

— Вы тоже считаете, что мы не справимся с нормой? Он посмотрел на меня с печалью.

— Даже от вас не ожидал таких наивных вопросов! В ближайшие дни мы будем снимать на площадке дерн. Общесоюзная норма на рабочего — семь кубометров дерна в смену. Вы представляете себе, что такое семь кубометров? Я строил железные дороги в средней России. Здоровые парни, профессионалы, в прекрасные погоды сгоняли с себя по три пота, пока добирались до семи кубометров. А здесь вечная мерзлота, здесь гнилая полярная осень, здесь пожилые люди, только вышедшие из тюрьмы, люди, никогда не бравшие в руки лопаты... Их от свежего воздуха шатает, а нужно выдать семь кубометров! А не выдашь — шестьсот граммов хлеба, пустая баланда, дистрофия... Вы человек молодой, вам что, но многих, которые сейчас ликуют, через месяц понесут ногами вперед — вот чего я боюсь!.

Он посмотрел на меня и понял, что переборщил. Он шутливо потряс меня за плечо и закончил:

— Однако не отчаивайтесь! Человек не свинья, он все вынесет. Схватка с нормами закончится нашей победой!

Он не ожидал, что я поверю в его бодрые уверения после горьких откровений. Он говорил о победе над нормами потому, что так надо было говорить. На воле давно позабыли, что значит высказывать собственное мнение, да, вероятно, его уже и не существовало у большинства — и люди мыслили всегда одними и теми же, раз и навсегда изреченными формулами, даже страшно было подумать, что можно подумать иначе! Я вспомнил, как философствовал пожилой сосед в камере Пугачевской башни в Бутырках: в самой материалистической стране мира победил отвратительный идеализм — нами командуют не дела, а слова, словечки, формулировочки, политические клейма... Лишь в заключении возможна своеобразная свобода мысли — но втихомолку, меж близких. Потапов знал меня недели три, он просто не доверяет мне — так я думал весь день. В конце его я понял, что ошибся.

Это был первый хороший день за две недели нашего пребывания в Норильске. Нежаркое солнце низвергалось на землю, тундра пылала как подожженная. Она была кроваво-красная, просто удивительно, до чего неистовый красный цвет забивал все остальные: мы мяли ногами красную траву, вырывали с корнями карликовые красные березы, в стороне громоздились горы, устланные красными мхами, а в ледяной воде озер отражались красные тучки, поднимавшиеся с востока. Я резал лопатой дерн и наваливал его на тачку, и все посматривал на эти странные тучки. Меня охватывало смятение, почти восторг. Я раньше и вообразить не мог, что существуют такие края, где летом в солнечный полдень облака окрашены в закатные цвета. Воистину здесь открывалась страна чудес! В увлечении этим праздничным миром я как-то забыл о нависшей надо мной норме.

Меня пробудил к действительности Анучин.

— Сергей Александрович, — сказал он, — боюсь, мы и кубометра не наворочаем.

Он подошел ко мне, измученный, и присел на камешек. В двадцати метрах от нас осторожно, чтобы не запачкать дорогого пальто, трудился Альшиц. Наполнив тачку всего на треть, он покатил ее к отвалу. Там сидел учетчик с листком бумаги на фанерной дощечке. Учетчик спрашивал подъезжающего, какая по счету у него тачка, и делал отметку против его фамилии.

Анучин продолжал, вздыхая:

— Участок удивительно неудачный — дерн тонкий, очищаешь большую площадь, а класть нечего! Выше дерн мощнее, я проверял — толщина полметра, если не больше. Там за то же время можно раза в три больше нагрузить тачек. Потапов приказал — очищать пониже.

— Здесь не выполним нормы.

— Мы заряжаем туфту. Учетчик записывает с наших слов. Я всегда любил четные цифры. После четвертой у меня шестая, потом восьмая, потом десятая... Вы понимаете? Альшиц, наоборот, специализируется на нечетных.

Я подошел к Альшицу. Он отдыхал с пожилым химиком Алексеевским и Хандомировым — беседовали о миссии Риббентропа в Москве! Альшиц подтверил, что удваивает фактическую выработку, то же самое делали Алексеевский с Хандомировым. Хандомиров считал, что провала не избежать.

— Я все прикинул в карандаше, — сказал он, вытаскивая блокнот. — Сейчас мы идем на уровне пятнадцати процентов нормы. Заряжаем сто процентов туфты, ну, максимально возможную технически — сто пятьдесят. Все равно меньше пятидесяти процентов. Штрафной паек обеспечен.

— Скорей бы вверх! — проговорил старик Алексеевский, с тоской вглядываясь в край площадки. — Там дерн потолще.

С этой минуты я очищал от дерна площадку вверх, к вожделенному толстому покрову. И, поняв наконец, что такое туфта и как ее заряжают, я поспешил взять реванш за длительное отставание в этой области. Я хладнокровно зарядил неслыханную туфту. Я вез на отвал четвертую тачку, но крикнул учетчику: «восьмая». Глазам своим он не верил давно, понимая, чего стоят наши цифры, но тут не поверил и ушам.

— Ты в своем уме? У тебя же четыре!

— Были! Хорошие люди не спят на работе, а ходят от трапа к трапу. Я сваливал вон там, за твоей спиной.

На отвал вело штук шесть деревянных дорожек, а учетчику вездесущность хоть и полагалась по штатному расписанию, но не была отпущена в натуре. Он мог спорить сколько угодно, но ничего не был способен доказать. Он заворчал и произвел нужную запись.

Я возвращался на свой участок посмеиваясь. Я твердил про себя чудесные дантовские кантоны в пушкинском переводе, приспособленные мною для нужд сегодняшнего дня:

Тут грешник жареный протяжно возопил:

«О, если б я теперь тонул в холодной лете!

О, если б зимний дождь мне кожу остудил!

Сто на сто я туфчу — процент неимоверный!»

Когда ко мне опять подошел Прохоров, чтобы отдохнуть в компании, я оглушил его адскими строчками. Он недоверчиво посмотрел на меня.

— Ты серьезно? Разве и при Пушкине знали туфту? Я рассмеялся.

— Нет, конечно. У Пушкина «терплю», а не «туфчу». Туфта — порождение современных обществ.

Однообразное очковтирательство Альшица меня не устраивало. От унылого ряда одних четных или нечетных цифр могло затошнить и теленка. Я обращался с туфтою как подлинный ее знаток. Я туфтил с увлечением и выдумкой. Я рассыпал и запутывал цифры, вязал ими, как ниткой, расставлял, как завитушки в орнаменте, то медленно полз в гору, то бешено взмывал ввысь. В азарте разнообразия я даже низвергнулся под уклон.

— Постой! Постой! — закричал изумленный учетчик. — У тебя недавно было семнадцать тачек, а сейчас ты говоришь: пятнадцатая!

— Теперь ты сам убедился, насколько я честен, — сказал я величественно. — Мне чужого не надо. Но я оговорился, пиши двадцатая.

Он покачал головой и написал: восемнадцатая. Фейерверк моих производственных достижений его ошеломлял. Он стал присматриваться ко мне внимательней, чем ко всей остальной бригаде. Еще час назад меня бы это огорчило. Я поиздевался над его запоздалым критическим усердием — я наконец добрался до толстого дерна. Лопата здесь уходила в землю с ободком. Сгоряча я не заметил, как много труднее стало резать этот высокий земляной слой.

Мои соседи тоже приползли к желанной линии. Во время очередного перекура мы сошлись в кружок.

— Станет легче, — устало порадовался Алексеевский.

— Ровно на столько, на сколько тридцать процентов нормы легче пятнадцати, — уточнил Хандомиров. — У меня все записано — поинтересуйтесь.

Никто не проявил любопытства. Мы знали, что Хандомиров в расчетах не ошибается. Восторг оттого, что удалось блестяще освоить туфту, погас во мне. Каждая моя косточка ныла от усталости. Я с печалью смотрел на Алексеевского и Альшица. Я знал, что им еще хуже.

В этот момент в нашу работу властно вмешался Потапов. Если раньше он гнал нас вверх, к «большому дерну», то теперь внезапно затормозил порыв к краю площадки. Он приказал возвращаться вниз, на тощие земляные покровы, к скалам, еле прикрытым мхом.

— Черт знает что! — сказал он непререкаемо. — Выбираете работешку повыгоднее? Будьте любезны очищать площадку по плану!

Он говорил это так громко и раздраженно, что никто не осмелился спорить. Мы с горечью отступились от вскрытого нами мощного земляного пласта. Отныне мы быстро очищали большие площади, но тачка набиралась не скоро. Мы надвигались на обрыв, сбрасывая в него остатки жалкого травяного покрова. Уставшие и приунывшие, мы еле плелись. Мы знали, что нас уже ничто не спасет от штрафного пайка.

— Я подтверждаю, что бригадир у нас полоумный, — мрачно сказал Альшиц.

— Рассчитывать он не умеет, — поддержал Хандомиров. — Ум бригадира — это расчет!

Потапов носился по площадке, поглядывая на часы, уцелевшие у него после всех обысков и изъятий, и поторапливал нас:

— Не сидеть! Здесь не дом отдыха! Чтобы все до отвала было зачищено.

Мы огрызались. Перед концом работы мы дружно ненавидели Потапова. Мы поняли, что он превратился в прислужника начальства и пощады от него не ждать. Мы негодовали и ругались, провожая его злыми глазами. Минут за пятнадцать до конца он исчез. Не сговариваясь, мы тут же забросили тачки и лопаты.

— Как вам это понравится? — пожаловался Альшиц. — Я уже думаю, что он не сходит с ума, а перерождается. Согласитесь, что для нормального сумасшедшего его действия слишком безумны.

Хандомиров обнародовал окончательный результат своих расчетов:

— Всего мы выполнили семнадцать процентов нормы. Натянем по записи около сорока... Завтра получим шестьсот граммов хлеба.

В это время со стороны конторы показалась группа начальников. Впереди надвигался Енин, за ним теснились прорабы, оперуполномоченные и снабженцы. Всех интересовало, как бригада инженеров справилась с земляными работами.

Рядом с Ениным, угодливо склонив широкую спину, шагал Потапов. Мы не слышали, что он говорит, мы видели только его заискивающее лицо и быстрые жесты рук. Мы поняли, что наговаривает на нас, оправдывая себя. Когда мы разобрались, о чем он толкует с Ениным, у нас перехватило дыхание. Даже в самых черных мыслях о нем мы не допускали того, что произошло реально.

— Я со всей ответственностью заявляю, что записи лживы, — громко заговорил Потапов, когда начальственный отряд остановился. Теперь мы стояли двумя тесными кучками — у обрыва бригада инженеров-землекопов, выше — начальники, а в крохотном пространстве между нами и ими — Потапов и помертвевший от ужаса учетчик. — Вот посмотрите, разве этому можно верить? — Он вырвал листок из рук учетчика. — Девятая тачка, потом тринадцатая, потом четырнадцатая и сразу семнадцатая. Я не виню учетчика, но его нагло обманывали! Так можно и триста процентов получить запросто.

Он смотрел на Енина, а мне казалось, что он пронзает беспощадным взглядом меня. Он цитировал мои цифры, вольное творение туфтача-фантазера. Я недавно так гордился этими звонкими цифрами, теперь они падали на меня как камни. Я опустил голову, дыхание сделалось маленьким и робким.

Енин спросил:

— Что же вы предлагаете, бригадир?

— Прежде всего уничтожить эту запись как зловредную туфту! — Потапов рванул листок и бросил остатки на землю. Горный ветер подхватил их и унес в отвал. Мы с молчаливой скорбью следили, как исчезает в темнеющей тундре единственная наша надежда на сносную еду. — А затем установим сами истинно выполненный объем работ. Никакой туфты — вот мой лозунг!

— Правильно — никакой туфты! У вас верный подход, бригадир, мы это запомним. А как вы определите истинный объем?

— Нет ничего проще. При вас замерим очищенную площадь и высоту дернового слоя, а затем помножим одно на другое. Вон там разрез по неснятому дерну, прошу туда!

Никто из нас не проговорил ни слова, но в воздухе пронесся ветер от полусотни разом вздохнувших грудей. Минутой позже Хандомиров, быстро проделав в уме расчет, восторженно прошептал:

— Вот это туфта так туфта! Почти вдесятеро! Процентов сто тридцать нормы — ручаюсь головой! Боже, какие мы кусочники в сравнении с Михаилом Георгиевичем!

А когда начальство, утвердив промеры, проделанные при нем и пригрозив, что так будет и впредь при каждой попытке очковтирательства, наконец удалилось, мы всей бригадой набросились на Потапова. Мы качали его, сменяя один другого, и, снова вступая в дело, кричали ликующе, с хохотом и свистом, с хлопаньем в ладоши и кровожадными криками: «Никакой туфты! Никакой туфты!» Потапов потерял голос еще до того, как мы наполовину выплеснули переполнявшие нас чувства. Он шатался и закатывал глаза. Мы схватили его под мышки и потащили к вахте, не выпуская из рук, и орали на всю темную тундру тот же дикий, воинственный припев, ставший отныне нашим лагерным «гимном».

Все замеры в кусты!

Все замеры в кусты!

Никакой туфты!

Никакой туфты!

...В этот знаменательный день я не только познакомился с туфтой, но и понял самое важное: настоящую туфту можно зарядить лишь под флагом принципиальной борьбы с туфтой!

Если в лагере и выпадает порой какое-то счастье, то в этот день оно посетило нас. Мы бригадно радовались в дороге, хохотали в бараке. Ничего особенного не произошло — раз в семь или восемь преувеличили реальную выработку, нормальное производственное вранье, без крупного обмана и маленькой конторки не выстроить — только и всего. Но нас восторженно потрясла фантастичность обмана. Были какие-то изящность и красота в том, как обеспечил наш бригадир завтрашний нормальный паек. Туфта была заряжена не той топорной, ремесленной работой, какую мы пытались самолично сотворить лживыми цифрами вывезенных тачек. Нет, она покоряла мастерством, равновеликим искусству, а не производству.

— Потапов — человек министерского ума, — твердил увлекающийся Хандомиров. — Ему бы главком руководить, а не бригадой. С таким не пропадешь, это точно.

Нам в тот вечер казалось, что найден единственно верный способ нормального существования в лагере — туфтить и туфтить, переходить от одного обмана к другому, заботиться не о деле, а о показухе. Мы почему-то все поголовно уверились, что так будет продолжаться всегда. Никому — кроме самого Потапова, разумеется, — и в голову не пришло, что ни Енин, ни его прорабы, ни даже оперуполномоченные на Металлургстрое ни секунды сами не верят в истинность фантастических земляных выработок. Но они знали, что если их не одобрить сегодня, то завтра, ослабленные недоеданием, мы и того мизера не выработаем, какой реально наработали сегодня. Близились выемки котлованов под оборудование, там ни показуха, ни туфта не проходили — машины надо ставить на настоящие фундаменты. Когда начались эти работы, я уже не трудился на Металлургстрое, но с товарищами еще встречался — им было нелегко! Ян Ходзинский, дольше других потрудившийся на «общих работах», так сформулировал следующий этап строительства: «Наверху — Бог, по бокам — мох, впереди — ох!»

После ужина вся бригада повалилась на нары. Кто-то подсчитал, что каждый лишний час сна эквивалентен пятидесяти калориям пищи — таким резервом энергии нельзя было пренебрегать. Правда, нам для нормального существования тогда не хватало, наверно, тысячи две калорий, то есть лишних сорока часов сна ежесуточно, но тут уже ничего нельзя было поделать.

Я перед сном погулял по лагерю. У клуба небольшая толпа ожидала, когда откроют двери. На стене висело объявление, что сегодня самодеятельные танцы и производственные частушки, а во втором отделении скрипичный концерт Корецкого, заключенный скрипач играет на собственном инструменте. Я уселся в первом ряду. Народу быстро прибывало. Не так много, как при показе кинофильмов, но с ползала набралось. Первая часть меня не увлекла — та самая самодеятельность, которая, по определению Хандомирова, делалась не профессионалами и потому восторгов не вызывала.

А скрипач Корецкий играл хорошо. Он, как и мы, был еще в гражданской одежде, а не в лагерном обмундировании — правда, не во фраке, как полагалось бы, будь он на воле, а в пиджачной паре.

В нашем соловецком этапе его не было, он, наверно, прибыл с красноярцами, их партия выгрузилась в Дудинке вскоре после нашей. И ему, и его аккомпаниатору — тоже профессиональному пианисту — дружно похлопали. В зале сидели и настоящие любители музыки.

Корецкий завершал клубный вечер. Он еще не раскланялся на сцене, а зрители уже повалили вон. Я подошел к скрипачу и поблагодарил за музыку. Он ответил равнодушным кивком, признание лагерного слушателя, вероятно, и не заслуживало большего. Я продолжал:

— Меня взяли в Ленинграде, а судили в Москве. И вот перед самым арестом приключилась такая история. В Большом зале Ленинградской филармонии объявили концерт известного скрипача. Я поспешил туда, но все билеты были проданы. И сколько я ни выпрашивал лишнего билетика, попасть на концерт мне не удалось. Я очень жалел, в программе значились прекрасные скрипичные пьесы.

Корецкий немного оживился:

— Наверно, был концерт Мирона Полякина или Михаила Эрденко? Они часто тогда выступали. Я сам очень люблю этих превосходных скрипачей.

— Это был ваш концерт, Корецкий, — сказал я. — И на ваш концерт в Ленинграде я не достал билета. А сейчас слушаю вас, не затратив ни денег, ни времени на очередь в кассе. И не знаю, радоваться этому или печалиться.

Он смущенно засмеялся и пожал мне руку. Несколько человек, заинтересованные нашим разговором, подошли поближе. Корецкий оглянул опустевший зал и что-то сказал аккомпаниатору. Тот пожал плечами. Пожалуй, я сыграю вам кое-что из программы того концерта, раз уж вы тогда не сумели меня послушать. И только сольные вещи, у нас нет нот для аккомпанемента.

Я уселся на прежнее место, рядом сел аккомпаниатор. Все оставшиеся слушатели заняли два ряда. Корецкий сыграл «Цыганские напевы» Сарасате, кусочек из баховской «Чаконны», две скрипичные арии — Генделя и Глюка. Я слушал закрыв глаза. Великая музыка в лагерном клубе хватала за душу еще сильней, чем в нарядных концертных залах. Корецкий опустил скрипку и сказал:

— Простите, больше не могу. Наш паек не восполняет затраты даже физической энергии, не говорю уже о нервной. Оправлюсь после этапа, буду играть больше. Спасибо всем, что так слушали меня!

Он благодарил нас, мы благодарили его. Я вышел из клуба и стал бродить по опустевшему лагерю. Музыка опьянила меня сильней, чем вино, она расковывала душу, а не тело. Музыку надо было пережить в одиночестве. Я подходил к нашему семнадцатому бараку и возвращался к запертому клубу. Из кухни возле клуба тянуло запахом завтрашней утренней баланды, я два раза прошлялся мимо раздаточного окна и непроизвольно втягивал в себя малопитательный аромат. Близость кухни мешала восстанавливать в памяти услышанные мелодии. Я рассердился на себя, что низменные потребности тела не корреспондируют высоким наслаждениям души, и пошел в барак.

С верхних нар свесил голову Прохоров.

— Ну как, Серега, концерт?

— Отличный. Можешь пожалеть, что не пошел.

— Жалею только о том, что раздатчик не налил второй миски супа. Слышал недавно лагерное изречение: одной пайки мало, а двух не хватает. Точно по мне.

Его жалобы вдохновили меня на ослепительную идею.

— А трех паек хватило бы, Саша? Могу предложить их.

Он даже вздохнул, до того несбыточны были мои посулы.

— Не уверен, что и тех хватит, но попробовать бы надо. Помнишь, как учили вузовские диаматчики: критерием истины является практика. Особенно в лагере — очень уж философское это учреждение.

— Тогда слезай со второго этажа, бери бак — и пошли за тремя порциями баланды для каждого. Он ни единым членом не пошевелился.

— Не трепись! Сам трепло, но такого...

— Все-таки послушай.

И я рассказал, что, проходя мимо столовой, почуял дух еще не полностью розданной сегодняшней баланды. Бригады на ночные работы не выводят, организованных раздач больше не будет. Что поварам делать с остатками варева? Сами поедают, потчуют друзей... Почему бы нам не выпросить немного и для себя? Могут шугануть, да ведь попытка не пытка.

Прохоров проворно соскочил с нары и схватил бачок.

— Пошли, Сергей. Условия такие: я несу бак, ты выпрашиваешь баланду. Тискать романы и раскидывать чернуху, выражаясь по-лагерному, ты мастер. Так вот — сегодня ты должен превзойти самого себя — в смысле переплюнуть любого оратора.

— Будь спокоен. Пламенные проповеди епископа Иоанна Хризостома, прозванного Златоустом, покажутся невнятной мямлей сравнительно с моей речью к поварам.

Но вся заранее расхваленная моя речь свелась к двум умоляющим фразам. Прохоров взметнул пустой бачок на раздаточный столик, из окна выглянул упитанный поварюга — щеки шире плеч, а я, смешавшись, пробормотал:

— Кореш, будь человеком. Нам бы остатку, понял... Повар вытаращился на меня и издевательски ухмыльнулся. Видимо, еще не было случая, чтобы Уксус Помидорычи из «пятьдесят восьмой» осмеливались просить добавки. Он взял бачок, кликнул помощника и пошел с ним к котлам. Спустя минут пять — наливали в бак литровыми черпаками — оба они единым махом водрузили на столик наполненную доверху посуду Повар со смешком снабдил меня ценным наставлением:

— Тащи, доходяга. И не обварись, суп горячий. Я поманил скрывавшегося в тени Прохорова.

— По условию — носка твоя.

Но он не сумел даже снять трехведерный бак со стола. Вдвоем мы все же стащили его на землю, не пролив и капли драгоценного варева. Вцепившись в ручки бака, мы потащили добычу в барак. Но руки долго не выдерживали тяжести, мы менялись местами. Это удлиняло отрезок пути без остановок не больше, чем на десяток метров. Потом Прохоров предложил тащить в четыре руки. Стало легче держать бак, зато трудней двигаться: идти приходилось боком вперед. На полдороге, у каменной уборной, солидного домика с обогревом и крепкой крышей — сконструировали для пурги и тяжкоградусных морозов — я попросил передыха.

— Отлично! Пойду, облегчусь, — сказал Прохоров и направился к уборной.

Но его остановил парень из «своих в доску» и заставил вернуться.

— Парочка заняла теплое местечко, так он сказал, — объяснил Прохоров возвращение.

Мы с минуту отдыхали, потом снова взялись за ручки. Из уборной вышли мужчина и женщина, к ним присоединился охранявший любовное свидание — все трое удалились к другому краю лагеря, там было несколько бараков для бытовиков и блатных.

— Мать-натура в любом месте берет свое, — сказал Прохоров, засмеявшись, — Теперь так, Сергей, через каждые сто шагов остановка на три минуты. Шаги считаешь ты, ты физмат кончал, а я лишь электрик.

— Электрики без математики — народ никуда, — возразил я, но начал считать шаги.

Втащив ношу в барак, мы поставили бачок на длинную скамью, протянувшуюся вдоль стола, и сами изнеможденно повалились на нее по обе стороны бака — так уходились, что не было сил сразу хвататься за ложки. Барак мощно спал, наполняя воздух храпом, сонным бормотанием и разнообразными испарениями. Я предложил будить всех и каждому выдавать по миске супа. Прохоров рассердился.

— Слишком жирно — всем по миске. И не подумаю подкармливать тех, кто раздобылся деньгами, жрет провизию из ларька, а с нами и в долг не поделится. Будим только хороших людей и настоящих доходяг. И не всех разом, а по паре, чтобы без толкотни и шума. Первая очередь — наша с тобой. Работаем!

Мы принялись выхлебывать бак. Пшенный суп был вкусен и густ, в нем попадались прожилки мяса. Но когда, впихнув в себя порции четыре варева, мы отвалились от бака, уровень в нем понизился всего лишь на три-четыре сантиметра.

— Нет мочи, — огорченно пробормотал Прохоров. — Погляди, брюхо, как барабан. Не то что ложкой, кулаком больше не впихнуть.

Я отозвался горестно-веселым куплетом, еще с великих голодух 1921 и 1932 годов засевшим у меня в мозгу:

Что нам дудка, что нам бубен?

Мы на брюхе играть будем.

Брюхо лопнет — наплевать!

Под рубахой не видать!

— Я бужу Альшица, ты Александра Ивановича, — сказал Прохоров.

Старик Эйсмонт, услышав о неожиданном угощении, поднялся сразу. Альшиц сперва послал Прохорова к нехорошей матери за то, что не дал досмотреть радужного сна, но, втянув ноздрями запах супа, тоже вскочил — даже в самых радостных сновидениях дополнительных порций еды не выдавали. Эйсмонт похлебал с полмиски и воротился на нары. Альшиц наслаждался еще дольше, чем мы с Сашей Прохоровым. Затем наступила очередь Хандомирова и Анучина, после них разбудили бригадира Потапова и бывшего экономиста Яна Ходзинского. Эта пара гляделась у бака эффектней всех — рослый Потапов, не вставая со скамьи, загребал в баке ложкой, как лопатой, а маленький Ходзинский приподнимался на цыпочки, чтобы захватить супа в глубине бака. Пиршество в бараке продолжалось до середины ночи, но мы с Прохоровым этого уже не видели. Мы, обессиленные от сытости, провалились в сон, когда над баком трудилась четвертая пара соседей.

... Рассказ мой будет неполон, если не поведаю о нескольких встречах с Прохоровым, после того как мы — надеюсь, навек — распростились с лагерем. В 1955 году решением Верховного Суда СССР нас обоих реабилитировали. Прохоров испытал еще одну радость, мне, беспартийному, неведомую — его восстановили в партии со всем доарестным стажем. Он жил у сестры в Гендриковом переулке, в доме, где некогда обитали Брики и Маяковский, там уже был тогда музей Маяковского.

— Срочно ко мне, встретимся на Таганке, — позвонил мне Прохоров, я тоже тогда жил в Москве у родственников.

У станции метро на Таганке Прохоров рассказал мне о своей радости и объявил, что ее надо отметить: душа его жаждет зелени, которой нам так не хватало на севере, а также хорошего шашлыка, отменного вина и небольшого озорства — из тех, которым все удивляются, но которые не заслуживают милицейской кары. Я предложил поехать в Парк культуры и отдыха — зелени там хватит на долгую прогулку, а шашлыков и вина в ресторане — на любые культурные запросы. Что же до хулиганства, то выбор его предоставляю ему самому. Мы спустились в метро. На середине эскалатора Прохоров, скромно стоявший на ступеньке, вдруг издал дикий индейский клич и мгновенно принял прежний скромный вид. На нас обернулись все, находившиеся на эскалаторе. Боюсь, виновником отчаянного вопля пассажиры посчитали меня — я неудержимо хохотал, а с лица Прохорова не сходила постная благостность, почти святость.

Мы поднялись вверх на Октябрьской площади. Прохоров вдруг затосковал. Воинственного клича в метро ему показалось мало, ликующая душа требовала чего-то большего. Он пристал ко мне — что делать? Я рассердился. Меня затолкали пешеходы, ринувшиеся на зеленый свет через площадь. В те годы на Октябрьской не существовало подземных переходов, все таксисты Октябрьскую, как, впрочем, и Таганку, дружно именовали «Площадью терпения», а пешеходы столь же дружно кляли. Посередине площади, на выстроенном для него бетонном возвышении, милиционер в белых перчатках лихо командовал пятью потоками машин, старавшимися вырваться на площадь с пяти вливавшихся в нее улиц.

— Что делать? Посоветуй же, что бы сделать? — громко скорбел ошалевший от счастья Прохоров.

Я показал на милиционера, величаво возвышавшегося в струях обтекавших его машин.

— Подойди к нему и поцелуй его.

Прохоров мигом стал серьезным.

— Поставишь три бутылки шампанского, если выполню.

— А ты пять, если не выполнишь.

— Годится. Гляди во все глаза.

Он решительно зашагал с тротуара на середину площади. Завизжала тормозами чуть не налетевшая на него «Победа». Милиционер сердито засвистел и свирепо замахал рукой, чтобы нарушитель порядка немедленно убирался. Прохоров подошел к милиционеру и что-то проговорил. Милиционер вдруг расплылся в улыбке и наклонил голову к Прохорову. Тот чмокнул стража порядка в щеку, что-то еще сказал и направился на другую сторону площади. Милиционер, не сгоняя дружелюбной улыбки, помахал вслед моему другу затянутой в перчатку рукой — два или три водителя, не поняв жеста, испуганно затормозили. Я побежал на переход, но пришлось переждать, пока пройдет плотный поток машин — рейд Прохорова через площадь создал немалый затор.

— Сашка, что ты ему сказал? — спросил я, догнав ушедшего вперед друга. — Не сомневаюсь, врал невероятно. Прохоров поморщился.

— Нет такого вранья, чтобы милиционеры дали себя поцеловать — фантазии у тебя не хватает.

— Что же ты ему наговорил?

— Только правда могла подействовать. Так, мол, и так, милок, сегодня восстановили в партии со всем стажем. Прости, не могу, душа поет, дай я тебя поцелую! И поцеловал!

— Три бутылки шампанского за мной, расплата без задержки, — сказал я, восхищенный, и мы повернули в парк Горького.

Уже вечерело, когда мы уселись на веранде ресторана. Над столиком нависал абажур, в нем светились три лампочки. В душе Прохорова еще бушевал задор. Но хулиганить в одиночестве ему уже не хотелось.

— Теперь твоя очередь творить несуразное, — объявил он. Я возмутился.

— С чего мне несуразничать? Я реабилитацию уже отпраздновал.

Он показал на абажур.

— Помнишь, как в Норильске мы отмечали освобождение из лагеря? Ты тогда дважды попадал пробкой от шампанского в указанные тебе точки на потолке. Разбей пробками эти лампочки. Штрафы плачу я.

— Раньше подвыпившие купчики били зеркала, — съязвил я.

— Бить зеркала — к несчастью, — строго возразил он. — Я человек современной индустриальной культуры и верю в нехорошие приметы. Электролампочка в каталогах научного суеверия не значится. Бей, говорю тебе!

Я аккуратно установил первую бутылку на нужное место и ослабил пробку. Когда пробка сама поползла наверх, я снял руки со стола и безмятежно откинулся на стуле. На звон разлетевшейся вдребезги лампочки прибежала рассерженная официантка.

— Несчастная случайность, — объяснил сияющий Прохоров. — Не сердитесь, девушка.

— Вот я позову милиционера, и он установит, случайность или безобразие, — пригрозила официантка.

— Правильно. Зовите, надо призвать к порядку зарвавшееся хулиганье, — сказал я. — Но учтите, девушка, этот наглый тип, — я сурово ткнул пальцем в ухмылявшегося друга, — сегодня платит вдесятеро за каждое повреждение, которое нанесет ресторану. Время у него подошло на денежные расходы, надо этим воспользоваться.

И скажите шефу, чтобы шашлык был такой, какого и в «Арагви» не готовят.

— Больше не разбивайте лампочек, — попросила официантка.

Шашлык поспел к моменту, когда и вторая лампочка разлетелась осколками. Официантка уже не сердилась, а улыбалась. Она сказала:

— Учтите, ребята, запасных лампочек сегодня мне не достать. Если и третью уничтожите, будете сидеть в темноте.

Мы учли ее угрозу и разнесли последнюю лампочку, когда покончили с шашлыком. Официантка проводила нас до выхода и пожелала, чтобы мы приходили почаще, ей нравятся веселые люди.

Когда мы, выйдя из парка, зашагали к метро, Прохоров задумался.

Мне показалось, что он не угомонился и обдумывает новую каверзу. Но он сказал со вздохом:

— Завтра выхожу на работу. Предлагают ответственную должность в главке, а там у них такие порядки, столько технического старья — разгребать и разгребать эти Авгиевы конюшни, как, помнишь, выражался у нас начальник культурно-воспитательной части. Надо выводить главк на уровень современной техники. Все время думаю только об этом.

— Все же не все время, — не поверил я. Он удивленно посмотрел на меня. Он не понял, почему я возражаю.